

УТОЛИ МОИ ПЕЧАЛИ, НАДЕЖДА ТЮЛЕНЕВА МАМУШКА!

Без всякой надежды позвонила ему:
— Милый Иван Федорович, пожалуйста, назначьте мне свидание!

Мы не виделись лет пять-шесть, может, поэтому он согласился сразу. Договорились на завтра, на полдень.

И вот стою на трамвайной остановке спортивного манежа, посмеиваясь над собой: «Ишь, нос-то раскатала, стоит с вымытой шеей и в начищенных башмаках! Да не придет он: или за шутку принял или забыл за работой, сидит себе поскрипывает перышком, ему спешить надо — его ждет издательство...» И прошло еще двадцать минут уже сверх назначенного часа. Все равно, решила: буду стоять до околевания и телепатировать, пока не услышит мой неслышимый вопль.

Тут появился очередной трамвай и привез мне большого русского писателя Ивана Панькина, который даже в хорошей, цивильной одежде — как старый мастеровой, и новый ма-



ленький портфельчик его упрямо, как и все прежние, продолжает походить на сумку слесаря с инструментами. Я точно знала, какой там «инструмент»: наверняка бутылка «Столичной», ну еще «консерва» какая-нибудь...

Встретились — будто расстались вчера.

— Помешала, из-за машинки вытащила? — все же извинилась я.

— Да так и так дело худо двигалось. Понимаешь, я абзацами пишу. И вот бьюсь над одним, а строчка на строчку налезает и абзац мнет...

Мы подошли к приютившему нас дому — старому, большому, в деревянной части Тулы. Накормили собаку, кошку погулять выпустили, чай заварили. Явилась-таки из невинного школьного портфельчика «Березка», вот насчет «консервы» я ошиблась — вместо нее оказалась печеночная колбаса. «Другая не по зубам мне теперь», — усмехнулся Панькин.

Потом он вытащил еще махонькую тонюсенькую книжоночку, страниц на пятнадцать, не более:

— Вот подарочек тебе принес — моя любимая книга.

Это была «Терешечка» из серии «Мои первые книжки», издания 1987 года, русская народная сказка в пересказе А.Н. Толстого.

— Да ты послушай только, я листочек тебе прочту...

И он, будто отведевывая некое вкуснейшее блюдо, стал смаковать каждое слово. «Во-от как надо писать!» — заключил он.

— «И я так могу», да? — в тон Панькину продолжала я.

— А что... Могу, да, — серьезно ответил он.

— А ведь я немножко «потрясти» вас хочу — насчет вашей жизни. Двадцать пять лет знакомы, а по душам, что называется, ни разу не привелось. Все вы как-то смешком... Я заметила, Иван Федорович, вы вообще поприду-

ряться любите. Ну зачем вы придуряетесь? Рассказывали мне, как в автобусе вы однажды из Москвы ехали, сидели на последнем сиденье, в центре, в новой шапке-треухе, боком ее на глаза надвинувши, а этикетка под носом на ниточке раскачивалась, пассажиры, заматившись, стали друг друга толкать и оглядываться, пальцем показывать, посмеиваться... Ну зачем вам это было надо?

— Да мрачные все сидели, хотел, чтобы развешились маленько. А как развешились — с ними и по душам стало можно.

Панькин пошмыгал розовым толстеньким носом-картошечкой, запыряться не стал:

— Да, люблю попридуряться... Ты пойми, если я в шляпе да при галстукке, к примеру, к пивному ларьку подойду, кто со мной говорить-то будет, посторонятся да еще поскорее без очереди пропустят. Пиво у киосков пьют не ради одного пива, а чтобы потолковать о жизни. При шляпе и галстукке я что услышу? А ничего!

— И тем не менее, несмотря на все ваши «хождения в народ», мне все представляется, что вы, Иван Федорович, как бы здесь, на земле, среди нас, грешных, живете, а в то же время как бы и нет, в каком-то своем, созданном вами, мире...

— Ну вот, — словно как бы не слышал меня Панькин, — а так — я стою себе, уши развесивши, меня еще кто и по плечу хлопнет: «Слышь, мужик, а вот со мной случай вышел!» — И тут только запоминай. Я как в Тулу впервые приехал — так первое время только на трамвае из конца в конец ездил. Слушал. Как говорят — слушал. Как мужики, ребята, бабы говорят. А особенно — как старухи... На окраине я как-то на глуховатую старуху наткнулся, подглохла она, еще когда молодухой была, потому сохранила тот язык, на котором говорили в годы ее молодости, то есть еще в том веке — начале этого. Я ходил и ходил ее слушать!.. А в Тулето, оказывается, не просто разговаривали, а — вывел я — для каждой ситуации житейской был свой язык: уличный, семейный, для высокого начальства-с, гостевой, цеховой — чтобы слово, как пуля, сквозь пространство цеха летело... — и вдруг прервал себя резко: — А насчет того, что живу в «своем мире», — ты права.

— Это и позволило не изолгаться в творчестве?

— Ты спрашиваешь, как поэт Пахомов вчера, о том же: как, мол, Иван Панькин, ты душу сохранил, не изоврался... Я на это одно

отвечу — бабушка мне помогает, ото всего спасает меня.

— Так что дело не в одном прислушивании к народной речи?

— Да, в детстве бабушка моя, от нее пошел... И еще два человека потом встретились... Сидельников и Друзин. Такие вот две фамилии.



ИВАН ФЕДОРОВИЧ ПАНЬКИН

— Иван Федорович! Я тихо падаю в обморок: профессор Друзин, который в Литинституте заставил меня пять раз передавать экзамен по советской литературе по билету с одним

и тем же вопросом — «Документы партии и правительства по литературе 20-х годов»?! Вот уж не ожидала Друзина в роли вашего наставника! Ну, Сидельников — понятно: автор учебника по устному народному творчеству...

— Ты о них как школьница понимаешь... А я с ними в ресторане многожды сиживал... Эти люди во мне другое разглядели...

Понимаешь, «Детгиз» Гайдара из меня лепить хотел, а не выходило из меня Гайдара... Сидельников мне сказал: не то, не о том пишешь, твое — другое! Ты себя плохо слушаешь, в самой твоей глубине другое живет... Вот так.

— Ну что это другое-то было?

— Ты знаешь, я ведь покривил в своей первой книжке душой-то. Грех на мне...

— «Начало одной жизни»?

— Вот... Теперь переписываю. Надо успеть. «Легенда о неугасаемой свече» будет называться. Ты знаешь, я понял, что кривлю, еще когда писать начал... С этой виной жил все годы... Вот Сидельников во мне и расслышал этот внутренний раздрай...

— А хорошо заплатили за первую книжку, как это было?

— Мы тогда в Сибири жили... Ох, смеялись надо мной тогда! Ну, кто смеялся — все: соседи, жена моя, Мария Карповна, первая вместе со всеми и смеялась: писатель-де выискался!

Панькин хекнул, пошмыгал своей картошечкой:

— А как гонорар большой получил, и смеяться перестала. Нет, правда, большой показался гонорар. Мы с ней в жизни таких денег не держали в руках. Прикидывали: то купим, се, это — раздеты ведь, разуты были, по правде. А гонорар не хватило дыры заткнуть...

Панькин засмеялся тихонько, с жалостью какой-то:

— Тогда фотографию мою куда-то просили, в журнал, что ли, какой — так «напрокат» шапку мне песцовую, из ондатры ли дали

СУДЬБЫ

и возле обкомовской «Волги» поставили перед фотокамерой, будто это моя машина, личная. Ох, было все это, было...

Тут мы на донышки наших чайных чашек (других сосудов, из которых пьют, в доме не оказалось) еще плеснули, стала подсовывать моему гостю рыбу, намазывать мягкий сыр с маслом: «Ешьте, ради Бога, я за вас перед Марьей Карповной отвечаю — чтобы домой воротился как огурец!»

Потом мы кошку впустили, нагулявшуюся под октябрьским ветром, она немедленно на колени Панькину забралась, замурлыкала, как трактор — напористо и звонко. Панькин заулыбался — но как-то себе, своим далеким мыслям.

— Вы, говорите, наврали в своей первой книге... Ну, не верю, чтобы уж такая «крутая» ложь была — типа наглого глянца... И потом — не выйди тогда та, «первая», вы, может, опоздали бы лет на сорок. А легкое ли дело — в шестьдесят начинающим автором оказаться. Вот вы с Пахомовым сейчас помогли одному талантливому автору первую книжку сделать — ему далеко за пятьдесят, да? — представляю, как радостно и как горько ему на ладони свою первую книгу держать... Первая книга — это какой шанс для молодого! Упустишь свое время, и, может, судьба не улыбнется больше... У меня дома на полке ваши «Легенда о матерях», «Мастер Тычка»... Не лукавьте, это то, что остается в литературе, ее соль. Эту «соль», наверное, и угадал Сидельников? Эта «соль» — от бабушки?

И тут я просто тихонько включила диктофон и перестала мешать Панькину вопросам.

— Моя бабушка, Прасковья, тятина мамушка, была язычница. Вот у Владимира Ивановича Даля: «мордва» — значит «колючая трава», я из самого маленького мордовского племени — эрзя, родился в эрзянской деревне, в крестьянской семье, и вот я такая трава, которую даже Сталин съест не мог.

Маленьким я был, когда мы переехали в поселок Кряж, в четырех километрах от Самары, жили за рекой Самаркою, было в Кряже две улицы, одна — Уральская, другая — Набережная. Набережная — а ни реки, ни моря не было. Просто, когда Волга и Самарка разливались, все эти четыре километра под водой были. А когда Самарка отступала к Самаре — рыбы оставалось видимо-невидимо...

Зима там была очень хорошая, зиму я любил... И любил с бабушкой в лес ходить. Леса там белые и черные. В белые, как в храм, молиться ходили, моляны такие читали (по памяти, конечно), в которых обращались к земле, воде, траве, деревьям. Чтобы природа-мать дала силы, излечила, защитила. Эти моляны

были как песня. И вот там — в белых лесах, рожали бабы...

Внуков у моей бабушки было очень довольно, а вечера долгие, и она рассказывала нам... Мне тогда маленько обидно было, что я самый маленький и она как бы не обращает на меня внимания, а мне хотелось, чтобы она со мной побольше, подольше, чем с другими, разговаривала — я любил ее очень...

В 29-м пошел в школу. Маленькое помещение было, и в нем сразу четыре класса. Первую учительницу всегда помнят — мне наша Любовь Семеновна тоже казалась такой красивой, такой умной — умнее всех!

Потом помню раскулачивание. Раскулачивали кожевенного заводчика Кутуева, дом его под школу отдали... Тут колхоз начали устраивать... Помню: у нас лошадь Рыжуха, корова были. Сквозь сон слышишь, как родители управляют, говорят тихими голосами — хорошо так...

Наши бабы шили ребятам штаны без карманов — чтобы они туда не клали гвоздей и прочих вещей. И каждый парнишка мечтал о «кустюме» — чтоб пиджак, брюки, все чинчиарем, и четыре кармана. Тут как раз стали выдавать в школе раскулаченное имущество — валенки, ботинки и эти — «кустюмы». «Кустюм» носить — это уж не знаю что!.. Ну вот, и когда стали раздавать, меня велели вычеркнуть. Потому что, оказывается, отец у меня не бедняк, а середняк. С великими слезами пошел я домой. Так расстроился, что отец мой не бедняк.

Подхожу к дому, а у нас собака была белая, с желтыми подпалинами, мы так любили друг дружку, и вот она встречает меня, на грудь скачет, лижет лицо. А мне свет не мил, отпихнул я собаку, захожу домой. А... а мать лежит на столе и — с чужим таким лицом...

И с того дня пошло все впокат. Сначала-то братья там, сестры: мы тебя не оставим, то-се, я же самый малый... Потом отец женился. Взял бабу с девчонкой, тетю Женю из Глушицы, из Уральских степей. Мужа ее, какого-то богатого человека, расстреляли. И женщина эта такая добрая была к нам ко всем... Мы не замечали, что девчонка ее какая-то лишняя... До Жени все наши бабы ходили в одинаковых неаккуратных юбках, в каких-то кофтах неаккуратных: идет тебе навстречу стог сена. А тут вдруг у них фигуры какие-то появились, талия там, то-се. Женя-то сама такая ладненькая и вот — с мизинчик, сама себе шила и их стала учить. При Жене мы впервые узнали вкус котлеты. Раньше мы не знали, что такое котлета. Мяса бабы наши не жалели, наложат в чугунок мяса, капусты, картошки, и вот оно все парится в печке целый день; мясо как тряпка делается, и все это «шти» называется. Ничем не была по-

хожа Женья на наших баб — наши-то чем шире, тем вроде бы лучше. И сварливаются вечно. А эта, говорю, узенькая какая-то, ко всем приветливая... И вот соседи стали отцу на тетю Женью наговаривать. А что наговаривать — она хорошая, ласковая со всеми, на виду вся, такую не подделаешь... Одно только обидно: как вспомнит мужа своего, расстрел — неделю пьяная валяется, в грязи, везде. Наши подбирают ее, прячут, но куда там! Соседи отцу в один голос: «Федя, бросай ее, эта не по тебе баба!» Ну, уехала Женья с девчонкой своей и где-то потялась в Самаре.

А отец снова женился, теперь на «настоящей» бабе, которая по росту ему и по всему вровень. Ну и... пропала семья! Один я остался — братья-сестры поразъехались, бабушка, тятиня мамушка, тоже померла, ну и некуда стало мне голову свою приклонить. А жили мы недалеко от железной дороги — станция там была... И вот за эту станцию, за эту железную дорогу ходил я плакать, тятину мамушку — бабушку свою — в душе своей образ ее вызывая. Эта, отцова новая-то, как-то так пальцами кожу у меня на груди двумя пальцами защемит и вывинтит воронкой, и сразу синее, зеленое, фиолетовое на теле проступит и больно так. И вот плачу там, за железной дорогой... И как-то остановился поезд, а поезда подолгу стояли тогда на станциях. Наплакался я, сел в этот поезд и поехал искать сестру, в Среднюю Азию... Только не в ту сторону сел и вместо Средней Азии оказался в Сызрани.

Больше всего, больше всех на свете я боялся шпаны — столько про нее тогда везде говорили. И вот вышел я в Сызрани на привокзальную площадь, там мостовая булыжная, ларьков видимо-невидимо всяких, и еще булыжников гора целая навезена. На груди этой булыжной ребятя сидят. Во-от такой толщины колбаса у них — один откусит, другому передаст, и по кругу так. За-апах!.. Этот запах меня и притянул. И я как-то оказался уже за их спинами. Один оглядывается и — колбасу мне. Я откусил и — вот уж весь их стал, со всеми потрохами. Это и оказалась самая настоящая шпана, с ней я и добрался до Москвы.

Обретались в подвале Казанского вокзала. Попали как раз, кстати, в период съемки фильма «Путевка в жизнь»... Гоняли нас, конечно. И если в определенное время не успеешь в свой подвал проюркнуть, ночью на улице. Я и ночевал. А как-то раз под лавкой у памятника первопечатнику Ивану Федорову меня дворник из шланга ледяной водой шуганул. Я крепко так спал, хорошее что-то снилось, так, знаешь, ледяная вода словно огонь воспринимается, я вскочил оттого, что меня будто обожгло, и головой о лавку долбанулся.

Ну и дальше — доскитался я до Голодной Степи. Думал, там хлебный край... А Голодная Степь и оказалась голодной. Снег там зимой бывает при ветрах с песком смешан — такой колючий. Оттого у тамошних и глаза узкие — прищуриваются они все время. Набрел я на одной станции на мазанку — даже без крыши, но там жили люди, в углу сложены были их постели, а дальше можно было располагаться где хочешь. Есть не звали, но если подсядешь — не отгонят, бери что увидишь и ешь со всеми, не спрашивай. И была у них девочка — маленькая, хорошая. Мы подружились с ней, она ничего такого не знала, и я не знал — чисто все. И бегали мы с ней в поле за кураем, перекати-полем то есть, за топливом. Ветер как понесет этот колючий травяной шар, мы вдогонку, падаем друг на друга, кувыркаемся... Родители ее радовались, глядя на нас. И вот однажды догоняла она курай этот и далеко унеслась, слышу — кричит, кричит, плачет, машет рукой в сторону станции. Гляжу — поезд подходит... Я на этом поезде и уехал. Она все бежала вдоль. Кричала и плакала.

И вот от этой Голодной Степи — навек это воспоминание. Смуглая узкоглазая девочка бежит и рукой машет... И еще — шестие верблюдов. Голодная Степь ведь стоит на водяной линзе, пробурят скважину — и это источник жизни для всех. И вот на горизонте показываются верблюды. Они идут, идут, идут, все ближе. И вот не поверишь — от их поступи схватывает сердце. Верблюды в Голодной Степи — это все. Он одевает, обувает, кормит, возит... Ну, я про те времена... конечно, сейчас, небось, диких верблюдов уже и нет...

Ехал я на крыше, само собой. Без еды и питья, нетрудно представить, что рано или поздно я должен был решиться на нехорошее дело. Я и решился. На остановке заглянул в один вагон — а там чего только не навалено, и еды всякой! Я влез, конечно, и только протянул руку к хлебу, так меня сзади кто-то за руку и взял. Сильно так, цепко и — бережно. Повели меня мьгыся, одели, накормили, спать положили. Я никогда так, кажется, за всю жизнь не спал — крепко-крепко. Просыпаюсь — скользкое и холодное что-то вокруг живота, вдоль спины. А это — удав. Меня циркачи ведь подобрали. Так я в цирке и оказался. Ехали они в Коканд и по дороге учили меня, вернее, приучать начали. Со временем я стал акробатом, прыгуном в «легкой ноге». На самом верху работал.

Много городов мы проехали, переходил я из труппы в труппу, но всегда работал один номер... Люди в цирке и добрые, и очень жестокие — там не смотрят, свой ли, чужой ли ребенок в номере работает, дрессируют отменно.

Но за что цирку благодарен — там научили меня работать честно.

И все же я бросил цирк, чувствовал, наверное, что не для того родился, не мое это. Хотя уже в самой Москве, в цирке знаменитого Чинизелли, у знаменитого Александра Сержа на Цветном бульваре работал. У меня даже собственные денежки водиться стали. И вот раз взял я билет до Сочи, бездумно даже как-то. Кстати, знаешь ты, что из цирка убежать труднее, чем из тюрьмы? Не успел я до Сочи доехать, как меня там уж ждут, депеша из Московской милиции. Тот, кто убегает из цирка, ставит под удар других, разрушает номер, посягает на чей-то кусок хлеба. Когда-то еще готовят замену!.. Но милиционер сжалился надо мной. «Беги, — говорит, — я тебя не видел». Опять я в скитания ударился — уже по Крыму: Ялта, Алушта, Керчь, Феодосия...

Увидел море, катер, конечно, захотел покататься. Побывал в Туапсе, оказался в Новороссийске. Деньги давно кончились, жил на пляже, под лодкой, в песке...

Я все эти мытарства как-то легко переносил. Потому что всегда помнил тятиной мамушки, моей бабушки, наставления: «Ты, Ванятка, — трава, ты — дерево, ты — лист, ты — во всем. И эта стена — ты, и этот пол, все — ты. Ты не плачь обо мне, когда помру, потому что я везде, во всем с тобой останусь. Подует ветер, похолодит твое лицо — это я. Выглянет солнышко, согреет тебе макушку — это я. Заплачет дождь, капли слезинками потекут по твои щекам — это я, Ванятка. И ты только позови меня, когда худо будет, я помогу тебе». И вот мне в голову от бабушки вошло все это — языческое. И я не мерз в песке под лодкой, потому что знал: это бабушка укрывает меня, притворившись деревом лодочного борта, и песок — вот он уже нагрелся, такой мягкий и податливый, — тоже она...

Еще бабушка моя говорила мне: «Не смотри на небо, смотри на землю — здесь все растет, здесь все живое, земля никогда не предаст...» Вот я ходил и смотрел — не обронил ли кто чего на пляже: я найду, тогда и разбогатею... Но ничего не находил — смешно, правда?

Я позднее понял, что «смотри не на небо, а на землю» означало: смотри все земное, смотри — жизнь. Для меня это — слушай жизнь. Я очень любил слушать с детства. Когда скитался по вагонам — рассказы пассажиров, особенно старух — они такое про своих снох-ведьм рассказывали, или наоборот — молодухи про старух, я под лавкой, бывало, обмирал от страху. Потом слушал рассказы моряков в кубрике — меня ведь под лодкой усмотрел командир одного корабля военного, по фамилии Кузьмич, вытащил и привел на торговый корабль, и так я стал юнгой. Мореплавателем.

И доплавал до 41-го. До апреля, когда пришла мне повестка в военкомат. Я к тому времени уже приоделся, у меня целый чемодан добра скопился — в том числе наимоднейший голубой костюм, галстук заграничный — перуанский, с петухом, — несколько простыней, наволочек, полотенца там, все такое — для жизни нужное... Да, целый чемодан... К тому времени я уже и физически сильно окреп и духом. Было так... Капитан, видно, подрядился перевезти какую-то контрабанду, перед тем все вечером в ресторан сходил, мне как молодому много выпить не разрешили, зато сказали — буду стоять рулевым... А что такое стоять рулевым — рулевой даже самому капитану может указать, и тот послушается. Я, бывало, норовил лишнюю вахту отстоять, не раз случилось и три вахты подряд: интересно было самого себя испытать и занято было смотреть, какой ровный пенный след оставляет за собой корабль, послушный твоей руке... Но, то ли случайно, то ли специально, вышло так, что вроде бы капитан не знал о штурмовом предупреждении. И мы вышли в открытое море. А там уже разыгралось оно вовсю и дошло вскоре до девяти баллов. Капитан, нанявший для рейса военных моряков, приказал мне спуститься в угольную яму. Угольная яма — это как спичечная коробка для мухи: та ни за что не взлетит, хотя вроде и есть пространство. И вот я в этой угольной яме, а по балке на потолке крючки, крючки — для лампы переносной, чтобы перемещать по мере подработки угля ближе к топке. Я должен был бросать уголь. Даже если бы я захотел остановиться, то не смог бы ни за что, потому что тут же на тебя начинали ползти крысы, а с лопатой я был им страшен. И вот — валяющийся с борта на борт кораблик, это метание с лопатой угля — от кучи к топке, — эти мельтешащие крысы... Мы все же добрались до порта... Когда вышли в Новороссийске на пирс — я заплакал. Капитан Максимов потрепал меня: «Ничего, ничего, Иван, три к носу, все пройдет, все пройдет!» И я понял, я тогда почувствовал: все, с этого часа я — мужик. Это были мои последние слезы...

Слушай, я не могу, дай передохнуть и налей по чуть-чуть сама, что-то руки дрожат...

Глянули за окно — как быстро темнеет. Собака лаем напоминает, что пора бы покормить и ее. Чай бы надо новый заварить, этот остыл совсем. Несколько минут передышки. И опять тихохонько шуршит старенький диктофончик. Он никогда меня не подводил, я так надеюсь на него, но тут — вот беда! Когда пришла пора посидеть с записанным на пленку рассказом Панькина над машинкой, оказалось, пленка зафиксировала какие-то воздыхания — такие безутешные, что пробегали мурашки (не уйдет

ли сейчас с ними душа рассказчика), а голос был так неразборчив, поскольку говорил он уже не для слушателя, а только для себя одного, и рассказ его был похож на исповедь. Перед кем? Небесами? Тятиной мамушкой, забывенной бабушкой своей Параскевой, лик которой видел сквозь окно в этом стремительно сереющем осеннем небе?.. Она тоже засматривала в окошко, только извне, и прислушивалась к тому, что наборматывал ее Ванятка (этот старый, шмыгающий носом-картошкой мужчина) о своих жизненных скитаниях шуршащей машинке: а не унесет ли узенькая коричневая ленточка диктофона, свивающаяся в улитку, остатки Ваняткиных дней, остатки Ваняткиных сил, не вберет ли в себя самого Ванятку?..

И поскольку техника так коварно подвела меня — не бабушка ли, язычница, ее зашептала — я доскажу за Ивана Федоровича своими словами, как запомнила.

К новобранцу в потрясающе роскошном голубом костюме с перуанским галстуком и призывники, и военкоматовский чин, приставленный присматривать за ними, отнеслись сразу враждебно: ишь, фифа, сразу видно, чей-то сынок, вон как разodel его папаша-то, как барина!.. Всех сопровождали родственники, иных — вся семья. Ивана не провожал никто, и потому некому было передать нажитое имущество, этот злополучный чемодан и голубой костюм — Иванову отраду и гордость, и он стал бросать все в толпу: берите, кто хочет, в армии мне все равно ничего не понадобится, а хранить на «гражданке» до «дембеля» некому. Вмиг все это — рубахи, простыни, наволочки — исчезли в жадных руках толпы. Армейский чин выразил неодобрение: мол, лучше бы сменял на самогонку, пропой — святое дело, весь бы вагон попить можно было! Новобранцы не только горячо разделили мнение чина, а восприняли как прямой приказ — поучить дурака. Ивана хорошенько, всем кагалом «поучили».

В качестве отступления: Ивана Федоровича еще раз лупили скопом, уже в Туле, собратья-писатели, мне об этом очевидцы рассказывали. В канаву какую-то затолкали, не зарытую строителями, и попинали маленько — не живи на особину, не строй из себя честного! Простил им Иван Федорович: спите спокойно по ночам, «инженеры человеческих душ», не держит зла на своих обидчиков большой русский писатель Иван Паныкин.



...Война началась через несколько месяцев — с бестолковщины, с жестокого отступления... Но они пытались противостоять.

«Днестр... Довольно бойкая река... Переправа... В камышах застрял какой-то плотик... На плотике — двое убитых, фанерка одному под ремень подsunута, на фанерке чернильными буквами: «Кто увидит — толкните дальше...» Я толкнул... Потом меня самого толкнули. Столкнули при переправе — в сапогах, при всей амуниции, и не смотря на то, что умею плавать, начал тонуть... В последний раз взглянул в небо — а там, сквозь облако — вроде как бабушкино лицо, я взмолился: «Бабушка моя! Вынеси меня!» — и выплыл... Волна будто руками стала подталкивать, приби-

вать меня к берегу...

А еще раз — самолеты налетели, бомбили с воздуха и артиллерия одновременно... Нас всех разметало как-то. Запомнил только фразу большого военачальника, который перед боем посмотрел на

наш строй и сказал другому, что рядом: «Ну, что это за подкрепление мне прислали! 1600 человек! — это на двадцать минут боя!» Действительно, через двадцать минут нашими телами было усеяно все обозримое пространство...

Я очнулся... или нет, не очнулся, я спал и мерз во сне... Я понимал, что так во сне и замерзну... И я стал молиться: «Бабушка, разбуди меня!»... И я услышал: тикают под виском часы... Такого не могло быть! Но часы тикали, а своих у меня не было. Открыл глаза — я лежал на руке немца, на его часах — они еще шли... Взрывной волной, видно, нас обоихшибануло на дорогу, но он был мертв, а я вот дышал... Не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Но, так да сяк корячась, сполз с дороги в кювет, в низинку... Скоро по дороге покатила немецкие машины, мотоциклы, всякая техника... Немцы горланили песни, а то взвизгивала губная гармошка... Они через нас катили в нашу Россию!.. Я смотрел на поле, на наших ребят... Деревенские и городские, со всей России-матушке... Они так и не побывали у моря, от которого мы так близко, не сфотографировались там, чтобы послать фото своим матерям и девушкам, их красивые молодые тела не целовала морская волна... Ничего у них уже никогда не будет... Душа не могла это выносить. Сердце разрывалось... А я лежал и тихо холодел... Спустилась ночь... Я стал молиться... «Земля моя! Тятиня мамушка, бабушка моя! Я — ваш, я — в вас, вы — во мне! Я — ваш стебелек! Песчин-

ка я ваша! Вынесите, не оставьте меня!» И я как-то смог ползти...

...Потом мне еще много пришлось поползать. По госпиталям, по улицам городов... Да-да, на четвереньках... Позвоночник — это уже конец, это уж что за жизнь!. Я думал, как бы мне... Но тут встретилась одна женщина, врач, немолодая уже, такая — ну, богатырская женщина, она сказала: «О какой смерти ты говоришь, милый! Ты будешь жить, как все люди! У тебя еще все будет!»... И пошло: опять Средняя Азия, Сибирь... Госпитали, госпитали... Считай, второе рождение... Та женщина-врач, она глядела на меня, в мое нутро, глазами моей бабушки, она просто приказала мне жить, вот что!

Иногда вдруг приходит воспоминание, как вывозят меня под Ростовом на плащ-палатке, волоком по земле... Кто волочит, куда?.. То ли сама земля, то ли бабушка моя... Понимаю, однополчане, может, друзья боевые, может, медсестричка... Но все сливается в один облик — тятиня мамушка, бабушка моя, земля моя...

Может, что не расслышала в этом горестном бормотании, что недопоняла...

Мы еще плеснули в чашки, вернее, разливала я, потому что Иван Федорович сидел, уронив лицо в ладони, и пальцы его реденько подрагивали, помянули погибших и моего без вести пропавшего на том же Южном фронте молодого дядю Георгия.

— Ну и что Иван Федорович нашил за свою жизнь, что самое дорогое в доме писателя Панькина, какие реликвии, что при пожаре первым кинется он спасти?

— Что нашил, что самого дорогого у меня?.. Жена, да сын, да дочь. Вот это только мое и есть на этом свете.

— А из нетленного?

— Память о моей бабушке, но она со мной и уйдет...

— Иван Федорович, а детище ваше, ваш мастер Тычка, нашел бы сегодня место себе в нашей жизни? Был ли бы как рыба в воде или было бы ему все вчуже?

— Вряд ли, вряд ли...

— Что «вряд»-то?

— Ну то! Я ведь все же не Тычка и не все про него знаю!

— Понятно, опять ушел Иван Федорович... А вот уж от этого не откажетесь, это и в легендах, и в сказках — все на троице, все трижды... Вы сказали, что трижды ваша бабушка к вам на помощь приходила: на воде, на земле... А третий раз где был?

— Был, был, милая... Вот ты опять своими вопросами меня туда, в ту жизнь вгоняешь...

Третий раз был — в сумасшедшем доме... Да, вот так... Ты смеешься?

— Ох, простите Христа ради, грешная мысль промелькнула: вот то место, где ваш Тычка сегодня мог бы оказаться очень свободно и был бы там — как рыба в воде, да?..

— Так вот, там моя бабушка была стенами, окнами, полем за окном и яблоней в цвету... Она мне нашептала, что я здоров, что мне не надо пить никакое лекарство, что надо просто, как в детстве, научиться спать без снов: лег, заснул, встал здоров... И так случилось...

— Иван Федорович! Вы меня простите за сегодняшний вечер, что с вопросами лезла в душу, ворошить заставляла...

— Ничего, я рад, что позвала, посидели вот так... Мне всегда хотелось сказать тебе, что я виноват, не помог тебе тогда, когда надо было помочь...

Иван Федорович вспомнил, как нашел меня в тульской «молодежке»: так и передал, что ему в «Детгизе» велели найти такую-сякую, у которой готовится к изданию хорошая детская книжка, и ее, такую-сякую, в чужом городе надо поддержать.

— Как еще поддерживать-то, Иван Федорович? Вы и так, как корову на баню, тянули меня в литературу — но не мое это, значит, было. Одна хорошая книжка — это еще не писатель... Давайте-ка лучше еще на прощанье почитайте мне страничку про Терешечку, запишу на память себе ваш голос...

— Хорошо, последнюю, мою любимую, — весело согласился он.

«А защипанного гусенка откормили, отпоили, на волю пустили, и стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стада летать да Терешечку вспоминать».

Вот так, значит, этот гусенок — я, а Терешечка — бабушка моя.

— А вы, Иван Федорович, немножечко — моя, ладно? И пойдемте провожу вас до трамвая!

* * *

Новый 95-й начался для Ивана Федоровича коряво — сломал руку, да в третий раз! И совсем было расклеился старинушка, как вдруг нечаянная радость: присудили тульскому сказателю впервые учрежденную в России премию имени Н. Лескова за дивные его легенды.

Портрет писателя — Андрей Лыженков
Фотоиллюстрации — Михаил Гиндин